

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ

В.И. СИЛАНТЬЕВА,
*доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой зарубежной литературы
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова*

МУЖЧИНЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

АРСЕНИЙ

Город бурлил и кипел. Он был равнодушен к конкретной судьбе. Или деланно равнодушен? Общим потоком нарядов, просто улыбок и маскарадной веселости несло толпу. Повизгивая тормозами, рядом шуршали машины. Отзванивал трамвай. Из бывшей кассы бывшего кинотеатра нахально демонстрировала себя большая доска-анонс «Жарю-парю». Жарило, парило и одновременно знобило в людском потоке и здесь, на пешеходной тропе-тротуаре.

Арсений шурился и делал вид, что устремлен. Продуманно-ухоженные кудри вились. «Прикид» в порядке. Солнцезащитные очки надо лбом. Небольшой кейс поприжат к бедру. «Нетерпение сердца» при нем, нужно доигрывать сегодняшнюю роль. Он свернул на Дерibasовскую, привычно рассчитывая, что променад по этой улице успокоит его и одарит чувством собственной значимости. Оглянутся намакияженные красавицы, которых здесь – как на столичном подиуме. Встретится кто-нибудь из театральных знакомых и поддержит его статус деланно-деловым разговором. Он пройдет до угла Ришельевской–Дерibasовской, как бы задумавшись, пофланирует мимо знаменитого театра и через сад Пале-Рояль, о котором во всех путеводителях уже сказано: «Посетить его – значит прикоснуться к другой, романтической, задумчивой стороне этого города». Ну что ж, Диана обнажена и омыта струями, чаша фонтана чиста, поодаль томятся в объятых Амур и Психея. Голуби гуляют, дети копошатся, красавицы-мамаши, как водится, на скамейках. К нижней Екатерининской улице вели шесть ступеней истертого гранита из давно ушедших времен. Их он преодолел как бы легко и как бы играючи. Постоял у рекламной коровы «MILKA». Глаз не забыл отметить гламурные приметы знаменитого города, в котором искали счастья многие, найдет его и он, Арсений.

Вообще, его назвали Семёном, а отчим пинал его «Сенькой». Он был обозлен, потому что в свои двадцать четыре пасынок не отягощал себя добычей средств хотя бы на собственное содержание. Он «видел себя» в театральном вузе. Жаждал сцены. Новейших решений с персоной Арсом во главе. «Плебсом» он называл многих. Но себя к нему не причислял. Его пренебрежение к близким было молчаливым, но явным: он не стеснялся садиться за общий стол в их коммунальной квартире, но научился смотреть поверх голов, быстро ел и, не участвуя в общем разговоре, избегал взгляда неродного отца. В своей крохотной комнатке поддерживал чистоту, валялся на старом диване, надевал и снимал наушники, места очень общего пользования посещал почти что крадучись.

Арсений не мечтал, он грезил. О себе в театре. О себе в богатом доме и на главных ролях. Почему нет? Он – мужчина. Красив и талантлив. Невеста найдется. Оглядываясь на себя в зеркале, он констатировал это не раз: неплохой лепки лицо; нос с греческой горбинкой (профиль Мефистофеля?); продуманно откорректированные брови; сложного рисунка

растительность на скулах и подбородке; взгляд, который можно сделать то обволакивающим и притягательным, то отталкивающим девчонок-простушек. Стоя перед помутневшим стеклом, он драпировал шею длинным шарфом, примеривал свитера-рубашки, купленные матерью с претензией на утонченный вкус, выучивал позы, раскладывал мужские аксессуары по карманам и кармашкам. Он «играл себя» до окрика или предложения вынести мусор. Потом отправлялся на поиски счастья. Это называлось «поразмышлять», «подумать», «подышать», «проведать море». На деле – показать себя. Кому конкретно? Но не убогим же, а человечеству.

* * *

*Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна;
но только все не впрок...*

Рита знала эту давно затверженную истину, но любила и баловала сына безоглядно. Как осколок своей ушедшей юности. Как дар небес и ген-молекулу художника, который когда-то раздел ее перед мольбертом, а потом уложил к себе в постель. От своих семнадцати до тридцати она жила под сенью одного непризнанного гения: ее гражданский муж подолгу сидел в мастерской, напивался, ругался, кидал в нее и в сына недопитой бутылкой. От этого на стенах были веерные подтеки, от этого ее красивые волосы стали рано седеть и пришлось перейти на очень короткие стрижки, которые не побуждают художников к творчеству. От тридцати и далее она пыталась выжить уже под сенью гения обещанного и ею создаваемого.

Сына она назвала Семёном-Сенечкой, потому что в этих словах ей слышался отзвук благородной сени и ласковое Сенечка-семечка. Поверив мужу, что в его непризнанности виновата только косная советская власть, она решила, что сын, рожденный от гения, будет счастлив и признан. Детство Сени прошло под знаком выживания и беготни по театральным студиям. «Ах, какой красивый мальчик!» сопровождалось еще и посулами красивого будущего, а она – мойщица окон и зловонных подъездов – была готова на все ради любимых и близких – спившегося мужа и черноглазого волоокого Сенечки.

Муж покончил с собой в запойном чаду и почти на глазах у подростка-сына. Перепуганная Рита, перебрав холсты и подрамники, ими заплатила за скромные похороны и право остаться в коммуналке-бараке, названном в семидесятых «семейным общежитием». Окна выходили во двор школы, и последующее счастье Риты состояло в том, что она не возила отрока Семена в школу и смогла устроиться в парикмахерскую. Сначала мойщицей-уборщицей, потом, обучившись этому почти бесплатно, педикюршей.

А Сенька-Сенечка, всем естественным подчеркивая свою исключительность, как-то быстро становился обладателем изысканного имени Арсений. Физики-химии и математики, как, впрочем, и все естественные науки, сливались в его голове в один сплошной гул. Исключить из школы не позволяли, значит, он иногда в ней все же появлялся. Деланно кутался в какие-то нестандартные тряпки-наряды и, желая подчеркнуть собственную незаурядность, бросал заученные фразы: «Чехов, конечно, предтеча Брехта, но зонги (тут он закатывал глаза и делал паузу), зонги в пьесах Брехта – абзац и жесь». Это смелое сочетание имен классических и спецлексем дворовых рождало свой эффект: девицы ахали, мальчишки отодвигались подальше (балбес или умник?) Он любил упомянуть имена Немировича и Станиславского, картинно полистать журнал в яркой обложке, панибратски назвать Марлона Брандо только по имени, а Бриджит Бардо обозвать кокоткой. Плотно призакрыв глаза, ему выдали аттестат об окончании школы, и под облегченный вздох Ритиногo второго мужа-кормильца он направился в театральный.

Почему он не поступил учиться в первый, а затем во второй и в третий год, для обескураженной мамы осталось загадкой. Но когда наступил час армейского призыва, она приняла невероятные усилия, чтобы купить гению-балбесу место на одном из отделений филфака. Деньги выдавал отчим-кормилец, но поставил условие: закончив учебу, пасынок заработает и отдаст эти деньги. Нет – значит придется расплатиться комнатой, доставшейся от отца. Поскольку Семен-Арсений свято верил в свою гениальность, этим словам он внимал в полуха.

* * *

Зоя познакомилась с ним после любительского спектакля в каком-то молодежном клубе. Она примчалась сюда, прочитав анонс в Интернете и прослышав, что эти молодые ребята «ставят Достоевского хорошо». Университетская филологиня, она внимала действию привычно-аналитически. Фрагменты «Белых ночей» вперемежку с отдельными сценами-письмами из «Бедных людей»? Зачем? Зачем романтический речитатив мечтателя («Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды») нужно смешивать с сентиментальными сентенциями «человека-ветошки» Девушкина? Пусть бы себе «мухи и котлеты» существовали отдельно. Пусть бы Девушкин и Доброселова представляли неубитое благородство нищих, а герой второй истории вдохновлялся бы пятью ночами неожиданной встречи, которая перышком счастья упала к ногам. В сыром и холодном Петербурге. Там, где ты мал и одинок. Город-сновидение, в котором трудно выжить беднякам и мечтателям. В котором амбиции и проект «гениальность» разбиваются о гранитную неприступность по-настоящему гениального зодчего. Где Адуев-младший должен был превратиться в Адуева-старшего. Где...

– Добрый вечер, Вы наша гостя?

От этой вежливости и строгого, а не разгильдяй-костюма, вздрогнуло сердце.

– Да, я пришла посмотреть.

– И?

– И не могу понять, зачем нужно было ставить сразу два романа Достоевского. В «укороченном» студийном варианте, но – два.

– А Вы знаете, сейчас спектакль будет обсуждаться с близкими нам людьми. Я приглашаю Вас...

Многозначительность предложения подкупила мгновенно. Как признавалась потом Зоя, она двинулась за Арсением как «лунатоходка» в момент «неполного пробуждения».

Ребята подустали, и чувствовалось, что играть Достоевского – труд немалый. Даже сейчас. Даже видевшим-видавшим, даже много спорившим об экранизациях и многочисленных интерпретациях. Их спрашивали – они через силу отвечали. Две пары: экзальтированные романтики Он и Настенька; благородные нищие Макар и Варенька.

– Не кажется ли вам, что первые сентиментальные романы Достоевского – это дань моде, они что называется «литературны» и не соответствуют его трагическому таланту?

– А Вы можете представить «Кроткую» без Вареньки Доброселовой? А Грушеньку без отчаяния и любовного надрыва Настеньки?

(Это уже режиссер, молодой человек с каким-то «подсвеченным изнутри» лицом).

– Так Вы что, ставили два ранних романа как пролог главных произведений писателя?

– Да, но Достоевский как исследователь глубин подсознательного...

– Напомню, Достоевский все больше говорил о непредсказуемости и «безудерже» русского характера, а здесь...

(Это зрители, и, думала Зоя, далеко не самые худшие зрители).

Сначала режиссер что называется «отбивался» и убеждал. Потом заговорил раздумчиво и всерьез. Он был умучен, но искренен. Без надоевшей позы ёрника-гения постмодерного разлива. Нет, он не собирался перелицовывать Достоевского и надоедать «эротическим компонентом» по принципу «А, может, Девушкин – Переодетая девушка?» В контексте сегодняшнего дня, говорил он, ему хотелось рассказать о недевальвированных ценностях человеческой жизни, которые были всегда и будут всегда:

– О том, что любовный порыв в своей чистоте и предчувствии счастья всегда прекрасен, но... бойтесь экзальтации, она губительна. Как для самого превозносящего любовь, так и для тех, кто рядом. В чьи объятия бросается Настенька? Кто этот Он, нарушивший слово и подаривший пять белых ночей ожидания своему визави?

– О том, что Варенька и Макар Девушкин заставляют вспомнить, что бедные – тоже люди. Что заслуга Достоевского как раз в том, что он еще накануне своего наказания сибирской каторгой успел сказать: самое страшное унижение для человека – это пренебрежение его личностью.

– Вас раздражают «маточка», «ангельчик», «ясочка Вы моя...»? Человек малоразвитый, а таким и был Макар Девушкин, для благородных изъяснений выбирает литературу,

с которой знаком (а вспомните, что он читал), но дело в том, что этими обращениями подчеркивается еще и кротость Макара (он не боится самоуничижения), и его способность на тихий подвиг самопожертвования (давайте вспомним проданный вицмундир и подаренную Вареньке гроздь винограда).

– Вас удивило мое желание объединить два непохожих романа? Ну что ж, придется, уж простите, поговорить о режиссерской сверхзадаче.

Как два ручья, сливаясь в одну воду, «Бедные люди» и «Белые ночи» дают нам предчувствие «большого Достоевского». С неубиваемой болью за «униженных и оскорбленных». С христианской заповедью кротости, пронзительно осознанной на каторге. С бунтующим сердцем, которому тесно в рамках сословного правопорядка. С inferнальными женщинами, которые сводят с ума и обрекают мужчин на бесплодное холостяцтво. В конце концов, с теми «глубинами подсознания», которые формируют человека страстей. Смотрите, контрастное сопоставление взволнованных речей Настеньки с ее Незнакомцем («Скажите, скажите, отчего же в такие минуты стесняется дух?») с тем, что писали друг другу Варенька и Макар («...знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно... Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона...») – это варианты одного и того же будущего. Мечтателю из «Белых ночей» еще предстоит последний всхлип Девушкина, а самому Девушкину, надленному мечтательностью нищего, уже не встретить скромницу-грёзу – ее отнимет и развратит богач Быков.

«А Вы знаете, задыхаясь, но искренне желая «донести свою правду», вел дальше режиссер, а ведь если объединить две стихии раннего Толстого – его «Севастопольские рассказы» и «Детство. Отрочество. Юность», то получится «Война и мир». Так и «Братья Карамазовы» – они выросли из сочувствия к бедным и мечтательной экзальтации «Белых ночей»... А почему бы не сыграть сразу фрагменты из «Братьев Карамазовых»? О, это под силу только профессиональному театру...»

Зоя была покорена. И прочтением Достоевского, и грамотностью режиссера, так увидевшего трудного писателя. И нависал над нею красавец Арсений. И казалось так и не повзрослевшей Зойке-Зоюшке-Зайчонку, что этот юноша-сорежиссер, конечно, ну конечно же, умен и страстен как властители дум канувшего в Лету XIX века. Ей хотелось этого, а мен-Арсений так витал над нечаянным театральным собранием, так поддакивал и обволакивал, что удержаться от восхищения – ну не вмошь, и все тут.

* * *

И закурило-понесло. Сначала поводы-причины придумывал Он. Потом, почувствовав себя распластанно-покоренной, ждала встреч Зоя. Говоря себе, что пусть не на много, но старше его и должна быть более трезвой и осмотрительной. Что, уже имея какой-то опыт общения с мужчиной, должна бояться показной велиречивости. А он с придыханием повествовал на тему «Море красиво». Особенно под щемяще яркими звездами. Особенно, если рвануться в лунную морскую дорожку после дневного зноя. У Зои перехватывало дыхание. Почему? Да потому, что девочке-девушке-женщине всегда хочется услышать по-доброму. И – чтоб говорили только ей. Арс умел это делать.

«Моя жизнь в искусстве» Константина Станиславского всегда была при нем. В кейсе. В холщовой торбе на пляже. В гостях. В шумной компании он мог схватить ее за руку, увести в какой-то потаенный угол и рассказывать, чем так приглянулся ему реформатор русской сцены. Мелькали имена и фамилии, упоминались театральные постановки и нестандартные решения, которые тут же всплывали и в памяти Зои – об этом она уже читала, но воздыхателя хотелось слушать, и она внимала. Иногда выплывая из этого словесного обольщения, она, посмеиваясь над собой, решала, что приключение не будет долгим.

Да, Зоя могла бы разыграть тривиальную сцену. Например, смиренно приподнять лицо и произнести в упор и наотмашь: «Не выдавай чужие мысли за свои». Можно бы сказать и другое: «Как китайцы в пору Мао, ты постоянно носишь цитатник Кормчего в кармане?» А еще и так: «Велиречивость, мой друг, нравится только крашенкам-блондинкам, а я – шатенка». Но он поспешил приоткрыть ей «тайну своего рождения». И потекло-поехало: изначально венценосное зачатие и пьяный отец как главное воспоминание детства. Безденежье и горькая реплика матери: «Будем есть то, что есть». Отчим, которому претит талант

Сеньки, и его предложение поработать хотя бы эпизодически, хотя бы на выгрузке черно-морского анчоуса, который в народе кличут «нерыбой-тюлькой».

– Ты знаешь, чем пахнет роба «тюлькина флота»? Немытыми ногами батальона хилых новобранцев.

– Откуда ты знаешь, как пахнут новобранцы, ты в армии, пардон, не служил.

– У меня хорошее артистическое воображение.

– Арс, но труд необходим. Разве ждать подачку от матери и есть за столом отчима не стыдно? Да еще будучи взрослым. Мечта мечтой, но торс обихаживать следует самому.

Он злился и давал понять, что его удел служить Музам, а не топтать тюльку. Пусть пока на третьих ролях, но он работает в Кукольном театре. Ему обещали роль Треплева в Украинском театре. Он репетирует... Он держит себя в форме... И Зойка, уже заметившая брачок-трещинку в статуэтке «великого Арса», начинала сочувствовать потенциальному гению. И толпились в ее мозгу сострадательные клише. И наполнилось сердце желанием помочь. И женское «кроткое, мягкое» застало разум.

Решили жить вместе. На съемной квартире с ночными бдениями во главе угла. Он был неумным в сексе и спал до полудня. Она – бежала на основную работу, сидела с учениками и сидела над переводами. Хотела верить и восхищаться. Жаждала его поступления в театральное училище – уж если не в Москве, то в Киеве. Подружилась с коллективом Кукольного. Бывала в актерском-режиссерском сообществе Украинского. Иногда ловила на себе недоумевающие взгляды его сотоварищей. Запомнилась реплика: «Его любовь к себе достойна *острого* пера». Оглянулась – представитель «среднего возрастного звена» отвел глаза. Сказав себе «талант нуждается в служении», Зоя перенесла это самое «служение» на себя. «Его не понимают» витало в воздухе и прорастало в ней.

Однажды они зашли к ее преподавателю – Мария Сергеевна пребывала Зоиной университетской наставницей на протяжении нескольких лет. В доме было много книг, на стенах висели работы знакомых художников. Текла беседа, и слова «модерн», «постмодерн», «академреализм» мячиками прыгали окрест. Тему погоды отодвинули в сторону и предпочли ей звяканье чайных ложек. Напившись чаю и сделав несколько комплиментов чайным приборам, Арсений «исследовал недра». Заходил к ним в столовую то с одной книгой, то с другой, что-то говорил о картинах. Мария Сергеевна посматривала и поддакивала, но в какой-то момент вдруг произнесла: «Если еще раз скажет: «В этой работе так много воздуха» и закатит глазки, запущу в него чашкой. Причем, не допив того, что в ней». Зоя рассмеялась – маска слетела с лица избранника, наверное, Мария Сергеевна видела суть, а не пресловутые «внешние данные».

– Зоенька, я давно звала Вас в аспирантуру. Почему Вы тратите силы и свой талант, Бог ведает, на что?

– Вы хотите сказать «на кого»?

– Да нет, Зоенька, здесь более уместным будет «нечто» и «ничто».

Конечно, Зоя обиделась и, сопротивляясь, произнесла:

– Мария Сергеевна, он даровит, беден и несчастен. И никак не может поступить в театральный. Я хочу ему помочь.

– Еще один Несчастливцев? – парировала острая на язык Мария Сергеевна. – Умерьте пыл, наивная барышня, будь я в приёмной комиссии любого театрального вуза и даже студии, я б никогда не позволила проголосовать «за» эту кандидатуру в студенты.

– Но почему, почему же? – все вопрошала Зоя. Обескураженная таким вердиктом, она боялась принять его на веру.

– Да потому, дорогая моя умница-разумница, что «талант застенчив и смирен», а здесь бахвальство. Да потому, что «гений жаждет отдавать, позер – похвалы слышать». А еще потому, что в этом юноше сидит мохнатая черная зависть и скверное желание продать свой товар подороже. Видя Зоикино смятение, она попыталась смягчить:

– Легко быть мудрой только в старости, Зоенька. Не поддавайтесь инстинкту «активного материнства», воспетого Фрейдом. И... И не вздумайте зачать маленького от петуха голландского.

Она засмеялась, хотя было грустно. И ей, Зое-Зоечке-Зайчонку, как продолжал называть ее отец. И Марии Сергеевне, из глаз которой выглядывала такая же неумная девчонка, как сама Зоя.

* * *

Они прожили вместе еще год. Общим домом и общими разговорами о жизни, о театре, об искусстве вообще. Зоя забегалась, хлеб насущный и квартплата доставались трудно. Пришли и те дни, когда она вспомнила безысходную реплику Вареньки Доброселовой: «Окна наши выходили на какой-то желтый забор». Тупик обозначил себя очевидно и настойчиво, и теперь Зоин кавалер-муж решил продемонстрировать если не утонченный сплин, то русскую хандру. Пробудившись, он начинал ныть. «Зачем я здесь?» повторялось с завидным постоянством. Зоя отвлекала-ублажала-развлекала и однажды предложила: «Может быть, тебе вернуться к родителям?». Он взвился в праведном (или наигранном?) гневе и обвинил ее в бессердечии. Как бы нервно оделся. Опрыскал себя хорошим парфюмом. Не забыл пиджак в мелкую клетку. Хлопнул дверь. Выходной был испорчен.

Арсений шел любимой протоптанной тропой. Мимо горсада с кафедральным собором и памятником Воронцову. Мимо кафе «Жарю-парю» с очень неплохой кухней. А вот казино с якобы невинными игровыми автоматами. Пассаж, не забытый даже на Брайтон-Бич. Дерibasовская. Привычно свернув на пешеходную улицу в самом центре города, Арс вогнал себя в роль денди. Независим. Хорош собой. Пиджак в сегодняшнем тренде. Заплаты-лейбы на локтях. Пальцы длинные. Ногти ухожены. В общем, молодой человек, ищущий новых впечатлений. Девчонки-красотки как будто и не уходили. Рекламная королева, в которой пенится фиолетовое молоко. А вот и знакомая стажистка. Черт бы побрал этот русский, в общем, заезжая художница, решившая стажироваться в Кукольном. Ну и что, что подслеповата, худа и ростом не вышла? Намного старше? Тоже не беда.

– Привет...

– Здравствуй, Арс, я рада встрече.

Ивка-Иванна приехала из «глубинки» и была бесхитростна и открыта миру. Арсению нравилось «крутить спираль», то есть заигрывать и вовлекать в свой терем. Терем был вместителен и просторен – в нем побывало немало сих. Это рождало чувство превосходства и уверенности. Он тут же расправил блестящие перья и, совершая ритуально-предупредительные телодвижения, предложил пройтись к Ланжерону и покормить всегда голодных чаек. Она купила батон, и они отправились.

Море было серым и бурным. Ревел и рвался куда-то ветер. Чайки кричали, их сносило к прибрежной посадке. В воздухе носились только сильные и жирные. Молодняк где-то прятался. Вода изрыгала обильную пену. Корявые остова акаций дополняли картину. Они скрипуче ругались. Спрятавшись за одной из пляжных кабинок, Арсений попытался прикрыть девушку – сняв очки, на холодном ветру она казалась совсем беззащитной. Прижал к себе. Она повернулась спиной к его чреву и чреслам. Он тут же впустил ее груди в ладони. Прижал посильнее и плотоядно вздрогнул. В голове сверкнул и пронесся кусок филологической премудрости: «Крепость мужа в чреслах». Потом и следующее: «Чресла мужу даны, а лоно жене».

Он взял ее тут же. Сдирая незамысловатые наряды и не прислушиваясь к протестному лепету. Встряивая клубок ее тела. Полуприсядая и снова вздымая ее и себя вверх. Под визг-клекот жирных чаек и ветродуй. Под скрип и скрежет голых акаций. В этом действе не было радости обладания и нежности. Он доказывал. Да, вот таким способом. И разве плохо? Могут еще...

В тяжелых сумерках Иванна пыталась одеться. Стыд и растерянность носились в воздухе. Застегнувшись и мало смущаясь, Арсений глядел в море, а потом, повернувшись к ней, произнес: «Мы потом попробуем по-настоящему. И будем целоваться перед этим. Представляешь?».

Втроем – Зоя-Арсений-Иванна – они сидели в партере маленького полуподвала театра, в котором ставили «Оркестр» Жана Ануя. Это были те же ребята, которые полтора года назад «играли Достоевского» в бывшем трамвайном депо. Помещение, похожее на ангар, тогда вместило сострадание и страсть классика, а еще его робко inferнальную и праведно кроткую женщину. С тех пор ребята «подросли» и актерски возмужали. С Арсением распрощались, отказав в режиссерских амбициях. Актерствовать не пустили, сказав, что в оркестре Ануя работают женщины. Сначала он буквально «билась о стены», и Зое пришлось выслушивать словеса и высушивать слезы. Затем, проронив: «Им никогда не под-

няться выше любительства», – вроде бы успокоился. Теперь, наверное, играя в менторское благородство, решил посетить мероприятие. С двумя молодыми женщинами сразу. О ролях, отведенных им, можно было только догадываться.

Оркестрантки французского курортного кафе. В санатории, где «лечатся от запоров». Одеты «в дурном вкусе». Послевоенный синдром и отрывки обывательских притязаний витают над ними. Играя музыку соответствующего ранга и масштаба, перебрасываются фразами-уколами: «Он меня безумно любит, чего уж, конечно, нельзя подумать о вас»; «Мои глаза не смотрят в разные стороны»; «Я люблю свое теплое и уютное гнездышко»; «Жорж. Как я о нем жалела! А он меня бил, и глуп был... Но ночью...» Единственный мужчина пианист-никудашка, на которого притязают изголодавшиеся музнеудачницы. Его пошлая реплика: «Я как арфа. Любое неосторожное прикосновение может меня разбить».

И можно бы посмеяться. И вспомнить Чехова. И сказать себе «Я не скачусь до такого уровня». И решить, что французская пьеса именно об этом. Но вдруг и неожиданно врывается в это бучило-болото экзистенция Ануя и его друга Камю. И одиночество, от которого не убежать – не спрятаться, обволакивает зал. И хочется съёжиться и закрыть глаза. Последняя надежда – близкий человек рядом. Даже такой, как кудашка-пианист. Это не от «пошлости пошлого человека», а от безмерного отчаяния и, желая подтвердить свой статус мужчины, он кричит: «Я Нерон! Я Тиберий! Все! Все мои!». Но и тут же срывается, желая силой прикрыть свою несостоятельность: «С одними я ласков – поцелуйчики, сантименты, а других я – плеткой».

И застонала-заплакала Зойкина душа, так что же, и Арсений – «эгоист поневоле»? Он тоже – та самая арфа, которую «можно разбить»? И все его притязания и пошлые выходки нужно побыстрее простить? А что же делать с концом Ануевской фразы, подаренной этому плазмо-астероиду: «Все знают, что есть проститутки, но... они дорого стоят... а тут, представьте, порядочные женщины... и все мои, все до одной!.. самые красивые... И бесплатно!» Стоп, стоп, а как там дальше? А, да вот так же: «Да здравствуют курорты! Огромный пляж и все голые!». Ахти мне, милая Одесса, ты располагаешь и к этому.

Зоя повернулась в сторону сидящих рядом. Рука Арсения лежала на колене Иванны. Ее отвлеченно-окаменевшее лицо смотрело в никуда. Греческий нос потенциального гения пластался над размягченно-блудливым лицом. Сизиф уже не Ануя, а Камю рассмеялся где-то рядом. Он стоял на вершине скалы и смотрел, как катится камень-глыба, которую, надрываясь, тащил он наверх.

* * *

Пришлось вспоминать-анализировать-пересматривать.

Однажды в субботу, когда можно отоспаться и как-то «собрать себя», сладко потягиваясь в еще неубранной постели, Арсений сказал весомо и с большим значением: «Вставай-вставай, нужно поехать за продуктами. Иванна простужена и безденежна. За сделанную работу театр еще не расплатился».

– Прости, но у нас тоже совсем нет денег.

– Тебе отдали за уроки.

– Но послезавтра платить за квартиру.

Плакатно-праведный гнев прозвучал в следующей его реплике:

– Но мы должны помочь больному человеку.

Ах, этот «виноград для Вареньки»... Ах, эта отеческая забота Макара Девушкина... Благородство-сострадание «не за свой счет»? Неужто и эти добродетели превратились в анекдот? Да, они поехали на всегда обильный «Привоз». Да, с сумкой продуктов и «живыми деньгами» он был отправлен к Ивушке-Ивке. Пребывал у нее долго. Зойка, помнится, успела приготовить обед. «Из ничего», но довольно обильный.

Он зачистил в бутафорский театральный цех по вечерам. Они с Иванной лепили макетный вариант кукол для нового спектакля. Возвращаясь, многословно рассказывал о новой концепции спектакля-шедевра. Потом пошли разговоры о том, что и на современ-

ных свадьбах распорядитель может использовать передвижную легкую ширму, и куклой Палец-голова веселить публику. Сценарий? Их можно написать множество. Предложил:

– Может, ты *купишь* этот проект и осуществишь постановку?

– Почему я? – потрясенно спросила Зоя.

– Ты можешь все, а я должен иметь свободное время. И потом, в головах филологинь сценарии растут и быстро, и обильно.

Вскоре их – Арсения и приезжую художницу – из цеха категорически выдворили. На вопрос Зои о причинах обструкции, он ответил «скромно-патетически»:

– Корифеи и прохиндеи боятся всего нового.

Какой-то театральный вечер «для своих». Арсений – «кушать подано» – приглашен и хоть не говорит об этом, но гордится. Он где-то носился и «светился». К Зое подходили, и со многими было интересно. Подошла Иванна. Заговорила о добродетелях Арсения. «Не оставит человека в беде». «Большой творческий потенциал». «Артистизм во всех начинаниях». Хотелось рассмеяться: в Зойкиной голове вместо «артистизма» уже кривлялся и улыбался «нарциссизм». Но зацепило другое. Ивка рассказала о своем визите к Марии Сергеевне, та отдавала книгу в издательство и ей нужен был художник-иллюстратор.

– Ты знаешь, Зоя, она неважно относится к Арсению.

– ?

– Может быть, я излишне эмоционально рассказывала о его таланте, но она вдруг заявила: «Следующий этап становления этого гения-прохиндея – прыгнуть к Вам на ручки. И повезете Вы его, Иванна, в свои дальние края».

– ?

– Не знаю, как тебе, Зоя, а мне это слушать обидно. К тому же, у меня есть возлюбленный. Он художник и ждет меня.

– А зачем ты мне об этом говоришь? – спросила тогда Зоя.

Они разошлись со скандалами и с криками о том, что она красавица-Артемиде не хочет понять, кто перед ней. «Может быть, Афродита, Артемиде была охотницей, а это – не моя стезя?» Эта ее женская шпилька-царапка только возбудила и раззадорила, он что-то бросал на пол и кричал, что сейчас, вот именно сейчас ему уходить некуда. Потом хлопнул дверью, не забыв взять ключи. Часа через два вернулся. И под реплику вдруг повзрослевшей Зои: «Не актерствуй, поступи хоть раз как мужчина», – подхватив увесистые чемоданы, отправился искать новое счастье. По-видимому, с несъемной квартирой.

* * *

В кафе «Жарю-парю» она вошла нечаянно. Так, перебегая улицу перед идущим трамваем. Недовольно пролязгав, трамвай прошел рядом. Заколотилось сердце. Под сердитые окрики она ринулась к приоткрытой двери. У стойки взяла большую чашку кофе. Пристроилась в углу у столика-«стоячки». Оглянулась. Увидела знакомую спину в хорошем пиджаке и лицом к себе девочку-блондинку с яркими карими глазами. Он рассказывал горячо и, кажется, взволнованно. Она смотрела на него восхищенно. «Обволакивает, – подумала Зоя, – И сплин куда-то подевался».

Она повернулась спиной к паре, а лицом к окну. На противоположной стороне улицы, у дома, где когда-то снимала квартиру, на пьедестале стояла Вера Холодная. Последние кленовые листья устилали асфальт, а графически четкие руки-ветви огромных деревьев ее любимого горсада тянулись к ней полудетским воспоминанием.

Они вышли из зала Повторного фильма. Стайкой умниц-студенток. По совету куратора посмотрели «Рабу любви» Никиты Михалкова. Девчонки перечисляли узнаваемые приметы города – фильм снимался и в Одессе включительно. А она мучилась все повторяющейся мелодией и словами:

Где же ты, мечта?

Где же ты, моя мечта?

Я вдаль гляжу с надеждой...

И летит ко мне
В зыбкой тишине нежный звук –
То ли это смех? – смех.
То ли это плач? – нет!

Это ты, любовь...

Исполнительницу она знала хорошо – Елена Камбурова. Элегически изысканную музыку Эдуарда Артемьева отличила и полюбила давно. Сплетаясь, эти мелодия и слова объясняли ей душу Веры Холодной и обещали любовь. Да, сначала неузнанную, потом убитую, но такую пронзительную. До всхлипа и в лепестках осыпающихся соцветий весенних южных деревьев. В ветром раздуваемых шифонах. В сбивчивом речитативе фраз:

– Ах, дайте мне привыкнуть...

– Да-да, я приду вечером, мы будем пить чай с детьми, Вашей мамой и говорить-говорить...

И бежал киношно-одесский трамвай уже в какие-то другие пространства, и, обратив незабываемое лицо к своему концу и скачущим всадникам, произнесла Елена Соловей: «Господа, вы звери...». Как странно, но это жило и продолжает в ней жить уже в другой эпохе. И, повторяясь, все слышится нежно-протяжное:

То ли это смех? – смех.
То ли это плач? – нет!
Это ты, любовь...